

М.А. Протопопов

**Виссарион Белинский
Его жизнь и литературная
деятельность**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
М11

M11 **М.А. Протопопов**
Виссарион Белинский: Его жизнь и литературная деятельность / М.А. Протопопов – М.: Книга по Требованию, 2021. – 52 с.

ISBN 978-5-4241-2444-0

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

ISBN 978-5-4241-2444-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© М.А. Протопопов, 2021

М. А. Протопопов
Виссарион Белинский. Его
жизнь и литературная
деятельность
Биографический очерк
С портретом Белинского,
гравированным в Лейпциге
Геданом

Введение

«Чем больше узнаешь людей, тем больше начинаешь любить собак». Не нужно быть завзятым пессимистом, чтобы усмотреть в этом горько-шутливом изречении значительную долю правды. Поэт был, разумеется, не прав, когда говорил, что «кто жил и мыслил – тот не может в душе не презирать людей». Но, с другой стороны, несомненно, что и теперь, и прежде «живь» – значит разочаровываться, а «мыслить» – значит все яснее и яснее сознавать страшную многосложность жизни и, как результат этой многосложности, убийственную медлительность и затруднительность нашего развития.

Одно из самых тяжелых разочарований, которое может постичь человека, – это разочарование в нравственных свойствах тех людей, которых он привык уважать и любить за их умственные качества. «Можно быть честным деятелем, не будучи честным человеком» – этот софизм можно доказывать самыми разнообразными аргументами (как это и бывало, между прочим, в нашей журналистике), но он навсегда останется только софизмом, т. е. ловкой фальсификацией истины, дешевой ее имитацией. Против него протестует наше непосредственное нравственное чувство. Нет, кто не живет так, как сам учит жить, для кого *слить* важнее, чем *быть*, у кого слово расходится с делом – тот не может быть настоящим крупным деятелем уже по одному тому, что его личность и его жизнь являются аргументом против его идей, против силы и жизненности его учения. «Учителю, очистися сам» – это элементарное соображение тысячи лет существует и еще тысячи лет просуществует, ни на волос не утративши своей силы, потому что оно в одно и то же время продукт и простого здравого смысла, и естественного человеческого инстинкта. Каждое учение, имеющее хотя бы только посредственное и отдаленное отношение к нашему нравственному миру, непременно ставит тот или другой *идеал*, а всякий идеал влечет за собою *обязанности*, между которыми простейшей, первой и очевиднейшей является обязанность служить этому идеалу.

Сфера человеческой деятельности в высшей степени разнообразны, и, конечно, между ними нетрудно указать такие, к которым было бы напрасно прилагать нравственные критерии. Какое нам дело, например, до человеческой личности Эдисона? Что общего между нравственностью и электрическим фонарем? Или каким образом фонограф может вызвать с нашей стороны известные надежды и нравственные требования по отношению к его изобретателю? Тем не менее почитателям Эдисона, конечно, было приятно узнать, что он с негодованием отверг просьбу североамериканского правительства найти удобнейший способ смертной казни посредством электричества. Законы органической жизни, открытые Дарвином, относятся не к этике, а к биологии, и дарвинизм, как *любая чисто научная теория*, лишен решительно всякого субъективного нравственного элемента, но все-таки нам приятно было убедиться, что личные нравственные качества творца этой теории вполне соответствуют его высокой умственной силе. Называйте как хотите это чувство или этот инстинкт, – чувством нравственной симметрии или инстинктом нравственной красоты, но факт то, что это чувство живет в нас и только в силу его нас печалит и отвращает безобразное соединение в одном и том же человеке высоких достоинств ума с дурными свойствами

сердца. Но мы выбирали примеры, так сказать, нейтральные, безразличные, такие, в которых талант или гений человека слагался из специальных, чисто умственных, мозговых способностей и сил. Сколько бы мы ни собирали еще примеров той же категории – они все-таки будут представлять собою не более как исключение, а общее правило состоит в том, что духовная деятельность человека направленно воздействует одновременно на наши идеи и на чувства, наш ум и нашу нравственность. Во всех этих бесчисленных случаях фарисейский принцип: «Можно быть честным деятелем, не будучи честным человеком» – подвергается самому беспощадному разоблачению и осуждению. Кто поверит рабовладельцу и работоговцу, декламирующим против рабства? Целомудрие – вещь прекрасная; но проповедь целомудрия, исходящая от человека, всласть «пожившего», звучит ложью и иронией. «Патриот», не находящий достаточно сильных слов для прославления прекрасных качеств своего народа и в то же время усиленно рекомендующий всякого рода ежовые рукавицы по отношению к этому самому народу, не может возбуждать в нас ничего, кроме негодования и отвращения. Человек, построивший свое благосостояние ловкой эксплуатацией чужого труда и в то же время восстающий против принципов капитализма, конечно, не привлечет к себе умов и сердец, жаждущих справедливости. Проповедник, указывающий на бренность и ничтожность всех земных благ и в то же время напрягающий все свои способности для достижения именно этих будто бы презираемых им благ, только самых наивных людей увлечет своей проповедью. И не в том главная сущность дела, что все эти люди и деятели, противореча своими поступками своим словам, подрывают доверие к собственной личности, к своей искренности и убежденности, а в том, что они вредят своим ученим, роняют достоинство тех идей, которые берутся защищать. Истина – сама себе цель, а они превращают ее в средство; идея, теория, доктрина, преисполненные, быть может, глубочайшего смысла и огромного значения, являются в их руках только жалкими ширмами, под защитою которых не дела делаются, а делишки обделяются. Хороши идеи, если под их флагом можно провозить какой угодно товар! Хороши идеалы, если на практике их назначение сводится к тому, чтобы отводить наивным людям глаза! Хороша истина, если ею можно торговать «распивочно и на вынос»! Вот заключения, к которым рано или поздно приводит «честная» деятельность какого-нибудь фарисея, – заключения, в логическом смысле совершенно неверные, но в нравственном отношении почти неизбежные и во всяком случае вполне естественные. По адептам судят об учении, и разочарование в личности деятеля ведет к разочарованию в его идее. Это, конечно, не логика разума, но это – логика жизни, и в ней есть свой серьезный смысл. Да, искренний и бескорыстный обскурант менее вреден, нежели просвещенный Тартюф, которому свет дорог не потому, что он свет, а потому, что, по времени и обстоятельствам,

...с либерального

Направления больше барыш,

Нежели с места квартального.

Писателю более чем кому-либо необходимо возможно полное согласование своих слов со своей жизнью. Для писателя, для человека, обладающего бесценной привилегией обращаться сразу к тысячам и к десяткам тысяч слушателей, и рискованно, и преступно выступать с какими бы то ни было иными целями,

кроме цели передать добытые им крупицы истины и добра. Сила писателя в таланте, но сила таланта прежде всего в искренности. Без компромиссов, без досадных и унизительных уступок не проживешь на этом свете; но отсюда еще слишком далеко до лицемерия, до отрицания на практике того, чему веришь и что исповедуешь в теории. Почему читатели всех стран и всех эпох интересуются даже мелкими и интимными подробностями жизни любимых писателей? Конечно, не в силу только одного праздного любопытства, а в силу сознательного или инстинктивного желания в живом примере их жизни почертнуть новое и сильнейшее доказательство жизненности и истинности их учения. И благо тому писателю, который может безбоязненно предстать на этот последний суд, чьи труды были не делом карьеры, а делом жизни, чьи произведения – не красивые «словеса лукавства», а выражение *убеждения*, т. е. не только веры, но и знания – и не только знания, но и веры. Пусть триста лет посмертной славы можно отдать за хорошее пищеварение и пусть также «мертвые срама не имут». Но если живой будет предчувствовать, что его, хотя бы уже и мертвого, непременно постигнет «срам» изобличения; если писатель в тайниках своей совести будет сознавать, что он заслуживает не славы, а бесславия – то это уже достаточное возмездие, и наше чувство справедливости может считать себя удовлетворенным.

Каких ни вымышляй пружин,
Чтоб мужу бую умудриться —
Не можно век носить личин,
И истина должна открыться!

Суд общественного мнения, так же как и суд истории, и суд совести, не налагают никаких формальных кар, но они страшнее суда уголовного для людей, не окончательно утративших всякое нравственное чувство.

К своей теперешней задаче мы приступаем с совершенно легким сердцем. Мы своим рассказом не убьем в читателе ни одного благородного верования; ни горечи, ни разочарования не испытает он, познакомившись с нравственной личностью нашего знаменитого критика. Наоборот: это одно из тех созерцаний, которые освежают душу и укрепляют веру – веру в человека и его достоинство. Безгрешен только Бог, но и между людьми есть праведники, без которых земля не стояла бы, и Белинский был одним из них – это мы заявляем с первого же шага и без малейших сомнений. Не литературные симпатии, не благодарные и почтительные чувства ученика к учителю одушевляют нас, – этого было бы мало, – а именно гордость и радость за человеческую природу, которая в лучших своих образцах представляется нам почти на высоте идеала. Если нам, как Гамлету, может быть временами действительно «страшно за человека», тем должны быть дороже для нас те редкие случаи, когда за человека утешительно и радостно. Жизнь Белинского полна увлечений, ошибок, заблуждений и иногда даже падений, но именно о людях этого типа и сказано, что им многое простится, потому что они возлюбили много. Не от равнодушия к истине, а наоборот, от слишком страстной и нетерпеливой жажды ее проис текали эти ошибки. Ни чувствовать, ни мыслить в полovину Белинский не умел и не мог. Его ум был слишком силен и деятелен для того, чтобы ограничиться пассивным восприятием идей, представлявшихся ему истинными, без попытки самостоятельно развить и расширить эти идеи, а чувство слишком искренно и пламенно, чтобы устра-

шиться каких бы то ни было логических результатов. «Упорствуя, волнуясь и спеша» (по прекрасному выражению Некрасова), он шел всегда вперед, и вот почему один неверный шаг в сторону от прямого пути заводил его в глухие трущобы, куда за ним никто не осмеливался следовать. С проклятиями своему мнимому «невежеству», с ожесточением против самого себя он возвращался из этих трущоб мысли, опять и опять принимался за свой труд пионера и кончил не унынием, не отчаянием, не падением, а тем, что овладел желанным талисманом, -

И с дерева неведомого плод,

Беспечные, беспечно мы вкушаем.

Такие искания не напрасны, такие заблуждения не суть заблуждения в собственном смысле этого слова, они – те искупительные жертвоприношения, которых, по слову поэта, просит судьба, потому что «даром ничто не дается». «Что есть истина?» Мы знаем глубочайший ответ, который последовал на этот иронический вопрос. Да, не в какой-нибудь отвлеченной формуле выражается истина, а в живой человеческой личности, в ее стремлении к добру, в ее любви к себе подобным, в ее готовности грехи нашего незнания, нашей ограниченности и нашего равнодушия искупить ценой собственного страдания. Проходят эпохи и поколения, меняются задачи, лозунги и знамена, падают устаревшие идеалы и выдвигаются новые – но в этом процессе смены относительных понятий и временных задач есть нечто абсолютное и непреходящее. Умирают личности, но живет человечество; тускнеют и выдыхаются идеи, но блещет вечным светом истина; падают идеалы, но не исчезает стремление к идеальному. Как жизнь заключается в процессе жизни, так истина заключается в процессе ее раскрытия. Кто подвигает людей на работу общую, кто своим примером, своей жизнью, своими идеями вызывает в нас деятельность ума и чувства – тот и есть достойный служитель истины, хотя бы прогрессирующая жизнь давно оставила за собою когда-то живые и широкие формы и пути его мысли. С этой высшей и общей точки зрения деятельность Белинского, со всеми ее уклонениями, увлечениями и переломами, находится вне всякого упрека. Но этого мало. Почти полвека прошло со времени смерти незабвенного писателя, но основная тема и основной тезис его литературно-критической деятельности до сих пор сохранили свежесть самой животрепещущей современности. Фундаментальная идея воззрений Белинского была сформулирована им таким образом: «*Никто, кроме людей ограниченных и духовно малолетних, не обязывает поэта воспевать непременно гимны добродетели и карать сатирою порок; но каждый умный человек вправе требовать, чтобы поэзия поэта или давала ему ответы на вопросы времени, или, по крайней мере, исполнена была скорбью этих тяжелых, неразрешимых вопросов. Кто поет про себя и для себя, презирая толпу, тот рискует быть единственным читателем своих произведений.*» Сказано, как отрезано. Это основное требование критики Белинского выражено так категорически и сформулировано так отчетливо, что решительно не допускает каких-нибудь кривых толкований. Вся последующая деятельность преемников Белинского, имена которых и называть не нужно, была не чем иным, как развитием этого принципа, в применении, конечно, к текущим литературным явлениям. Само собой разумеется, что значение этого принципа отнюдь не эстетическое и даже не чисто литературное, а строго и непосредственно общественное: приглашать поэзию не чуждаться «вопросов времени» – значит, в сущности, призывать к этому само

общество, а это, в свою очередь, значит развивать в нем сознание солидарности, будить в нем тот дух общественности, без которого нет ни прогресса, ни настоящей умственной жизни. Эстетика как метафизика искусства была для Белинского не самодовлеющей целью, а довольно хорошим, за неимением лучшего, средством.

Итак, вот о ком мы хотим рассказать читателю: не о мертвом, а о живом и даже до сих пор передовом человеке. Жизнь Белинского столько же бедна внешними событиями, сколько богата внутренним содержанием. Руссо сказал про себя, что он явится на Страшный суд, держа в руках свои «Confessions». Белинский может явиться на тот суд, не выбирая лучших произведений, ни от чего не отрекаясь, ничего не скрывая и не утаивая. Он писал, как думал, и жил, как писал. В этой полнейшей искренности не только его оправдание, но и его нравственная заслуга, помимо его умственных подвигов. Как писатель – он учил нас мыслить; как человек – он учил любить мысль и доверять ей. Белинский был натурой альтруистической – вот краткое резюме всей совокупности его нравственных свойств.

Глава I. Детство Белинского

Виссарион Григорьевич Белинский родился в Свеаборге в мае или феврале (это обстоятельство остается невыясненным) 1810 года. Как очень многие из русских писателей, он происходил из духовного сословия: дед Белинского был священником в селе Бельни Пензенской губернии Нижнеломовского уезда – откуда и фамилия Бельинский, переделанная в «Белинский» нашим критиком. «В жилах Белинского, – по замечанию Тургенева, – текла беспримесная кровь – принадлежность нашего великорусского духовенства, столько веков недоступного влиянию иностранной породы». Дед Белинского – о. Никифор – был в своем роде замечательный человек, нисколько не отвечавший обычному типу сельского священника того времени (как, впрочем, и нашего): он вел уединенный и аскетический образ жизни, и память о нем сохранялась в семье как о праведнике. Совершенно в другом роде, но не в меньшей степени был замечателен и отец Белинского – Григорий Никифорович. Он кончил курс в Петербургской медицинской академии и служил лекарем во флотском экипаже, во время стоянки которого в Финляндии у него и родился первенец – сын Виссарион. В 1816 году он перешел на службу в родную Пензенскую губернию, а именно в Чембар, на должность уездного врача. Чем была наша провинция в первой четверти XIX столетия – хорошо известно хотя бы по разнообразной коллекции гоголевских типов. В Чембаре разыгралось нечто вроде «Горя от ума» в миниатюре: Григорий Никифорович Белинский был обвинен в безбожии и «вольтерьянстве» и должен был порвать с уездным обществом все связи, кроме официальных. Его жена – мать нашего критика – насколько можно судить по слишком скучным данным, сохранившимся о ней, наоборот, была во всех отношениях как раз под стать местному обществу, и Григорий Никифорович, лишенный поддержки и с этой стороны, прибег к исторически освященному и всероссийским опытом оправданному источнику утешения: он запил. Казалось бы, абрютировав¹ себя таким способом, он мог сойтись на дружеской ноге с забраковавшим его обществом, но сближения не последовало, очевидно, потому, что пьяный Белинский все-таки был гораздо умнее трезвых Бобчинских, Добчинских, Коробочек и Собакевичей. Наоборот, отношения еще более обострились: потеряв контроль над собой, Белинский-отец давал полную волю своему языку, и амбициозные Бобчинские дошли в своем озлоблении до того, что Белинский отказывался ездить по приглашениям даже как доктор из опасения быть убитым. Относя часть этих опасений просто к галлюцинациям человека с расстроенным нервами, все-таки остается несомненной крайняя враждебность чебарского общества по отношению к Белинскому и полное одиночество последнего.

Понятное дело, что семейная жизнь, сложившаяся из таких элементов, не могла похвальиться внутренним миром. Тем не менее, из различных данных, собранных Пыпиним в его книге о Белинском, нет никакой возможности заключить, что нравственная атмосфера, в которой рос будущий критик, была исключительно плоха. Мы склонны даже думать как раз противоположное. Для того, кто имеет хотя бы отдаленное литературное понятие о строе нашей так называемой патриархальной семьи, представится в высшей степени необычайной картина отношений отца к сыну, нарисованная близким родственником Белинских – Д.

П. Ивановым: Григорий Никифорович Белинский «с самой ранней поры даровитого ребенка не мог не замечать и остроумия, и страсти к чтению, и пытливой любознательности, с которой мальчик прислушивался к рассказам отца о прошлом, к его суждениям о предметах, вызывающих размышление». «По словам Иванова, – прибавляет далее Пыпин, – между ними была симпатия, благодетельно действовавшая на обоих в крайних случаях, и, действительно, Виссарион еще юношей при домашних несогласиях стал повышать голос, высказывать отцу свои укоры, и отец выслушивал их, не негодовал, не оправдывался: очевидно, голос сына он принимал с уважением». Тем не менее Пыпин почему-то называет домашние отношения Белинского «тягостными», его «родной кровь» – *неприютным*. Но неужели эта близость – не цветущий оазис в мертвленной пустыне тех отношений, понятий и взглядов, которые формулировались в классическом изречении – «мое детище: хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю». Очевидно, Белинский-отец был на голову выше не только своего захолустного, но и вообще современного ему общества. Виссарион Белинский имел редкое счастье найти в своем отце не биологическую любовь только, но и внимание, и понимание. Ничто так не разывает и не возвышает детей – в особенности даровитых и самолюбивых – как разумно-дружеская близость с ними, отношение к ним как к равным, без непрестанного напоминания о своем авторитете, без злоупотребления своими формальными правами. Белинский имел это исключительное счастье, в сравнении с которым мелкие домашние стычки между родителями представляются совершенной безделицей. Не были светлыми, как с отцом, но не были и мрачными, тяжелыми отношения Виссариона с матерью. Очевидцы говорят, что «мать была женщина добрая, но мало развитая, раздраженная и сварливая; ее образование ограничивалось посредственным знанием грамоты. Вся забота ее заключалась в том, чтобы прилично одеть и, в особенности, сытно накормить детей: когда Виссарион жил в Москве, она еще снабжала его теплыми фуфайками и копченными гусями, посыпаемыми с „оказией“». Что тут дурного или ненормального? – спросим мы. Мать давала что могла: сытно кормила и тепло одевала своих детей, не претендую на нравственное и умственное руководство, не залезая в душу и не насилия совести своего даровитого сына. Делалось ли это по небрежности или в силу неясного сознания, что такое руководство – не ее ума дело, – результат во всяком случае был хорош: темные предрассудки матери остались без малейшего влияния на впечатлительного ребенка. Сколько людей могли бы позавидовать условиям детской жизни Белинского!.²

Счастье продолжало благоприятствовать Белинскому и далее. Грамоте он выучился у вольнопрактиковавшей (тогда на этот счет было просто) учительницы, некоей Ципровской, о личности которой сведений не имеется, дальнейшее же обучение началось для него в чембарском уездном училище, только что тогда открывшемся. «На первое время, – рассказывает Пыпин, – весь педагогический штат заведения состоял из одного смотрителя, который был преподавателем по всем предметам. Этот смотритель был человек добрый и кроткий». «Вскоре, – рассказывает Иванов, поступивший в училище в одно время с Белинским, – прибавились новые учителя: один по Закону Божию, соборный священник; другой по русскому языку – тоже сын соборного священника, исключенный из семинарии. Этот последний был страстный любитель наказаний розгами, кото-